

**Ключевые проблематизации в истории пола,  
любви и сексуальности.  
Часть 2: Викторианский плен и современные виктории**

© Ф.В. Тагиров

Российский университет дружбы народов, Москва, 117198, Россия

*Рассмотрены стержневые точки организации эротизма, любви и сексуальности в Викторианскую эпоху, а также в последовавшую за сексуальной революцией 1960-х годов эру индивидуализации и раскрепощения. В качестве основных проблематизаций Викторианского времени выделены благопристойность, статус, здоровье и накопление. Показано, как в описываемом обществе доминирующими становятся ценности буржуазного класса, а семейные отношения, проявления сексуальности и выражения любви оказываются под неофициальным, но пристальным контролем социального окружения и обязаны соответствовать статусным представлениям о добропорядочности и умеренности. Медицина превращается в «новую религию», и забота о здоровье (в понимании той эпохи) принимает формы принудительного контроля в отношении половой жизни в целом и женской сексуальности в частности. Одним из главных императивов буржуазного образа мысли является принцип утилитарности — исключение непроизводительной траты и накопление благ, что также напрямую сказывается как на социальной, так и на интимной стороне отношений между полами. Проанализированы ключевые проблемные точки эроса в современном обществе: эмансипация, темпоральность, «товарность», риск-менеджмент. Раскрыто, как общая тенденция к раскрепощению одновременно приводит субъекта сексуальности к свободе и необходимости непрерывного поиска собственной идентичности. Показано, что вместе с ослаблением устойчивых социальных структур цели, которые ставит перед собой данный субъект, а также его победы стремятся ко все большей темпоральности и что вместе с «победой рынка над моралью» отношения вокруг наслаждения приобретают прежде всего товарный характер. Изучен вопрос новых форм контроля, утвердившихся в мире раскрепощенной сексуальности. Сделаны обобщающие выводы относительно нелинейного характера истории эроса и общих мировоззренческих оснований, предопределяющих практики эротического и их осмысление в различные эпохи. Теоретической базой настоящего исследования выступают труды З. Баумана, М. Фуко, Р. Мюшмбле, П. Брюкнера, Э. Гидденса, Ж. Бодрийяра, О. Тоффлера, Б. Рассела, В. Зомбарта, Ж. Ле Гоффа, Н. Трюона, Р. Таннахилл, Ж.-К. Мильнера и ряда других авторов. В основу работы положены принципы компаративной, социально-философской, философско-исторической и историко-философской методологии.*

*Первая часть статьи опубликована в выпуске 5 за 2019 г.*

**Ключевые слова:** Викторианская эпоха, история, контроль, пол, сексуальность, сексуальная революция, хюбрис, эмансипация, эрос

История пола, любви и сексуальности, как всякая история, состоит из преемствований, наследований, эволюционных развертываний, но вместе с тем — из обрывов, прерываний, новых начинаний. Иногда глаз не замечает разрыва, тонкой трещинки, разрастающейся, однако, в глубине черной пропастью, порою же, напротив, упускает связь там, где она притаилась, сокрывшись в чужих, несвойственных ей одеждах. Так мы привыкаем противопоставлять Средние века греко-римской Античности и, рассуждая о тесной связи душевного и телесного (и даже об определенной телесности души) в сознании древнего грека, зачастую говорим об их противопоставлении в средневековом мировоззрении, подобно тому, как Небо противопоставляется земле. И это верно, но в праве ли мы абсолютизировать это противопоставление? Декларируемая церковью официальная доктрина не заполняла собой мышление конкретных людей без остатка, а этот трудновыкорчевываемый «остаток» у многих и многих продолжал оставаться «дохристианским». Крестьянину, живущему в тесном единении с окружающим его фюзисом, миром природных форм, ритмов и смыслов, было бы очень трудно полностью отказаться от своей телесности в пользу некой трансцендентной духовности или перестать воспринимать телесное и духовное как сопричастное друг другу. Да и медицина в городах в теории и на практике исходила из представлений о переплетенности душевных и телесных состояний и возможности лечения одного путем правильного воздействия на другое. Радикальное разделение души и тела в сознании европейца, согласно, например, Ж. Ле Гоффу и Н. Трюону, происходит не в Средние века, а только в XVII в. [1, с. 32].

Наша текущая задача заключается в том, чтобы продолжить рассмотрение основных точек проблематизации, к которым стягивались нормативные наставления и фактические практики людей в области пола, любви и эротизма, обратившись теперь к Викторианской эпохе и последовавшей за ней эпохе, рожденной сексуальной революцией 1960-х годов. Помимо классической дилеммы подавления и раскрепощения, помимо рассмотрения стержневых моментов, определяющих отношения между мужчинами и женщинами в семье и за ее пределами, свободу выбора партнера, в том числе и того же самого пола, будет затронут также и столь важный еще для древних греков вопрос меры, достигаемой как за счет внешнего принуждения, так и за счет самоограничения, и противопоставляемой неумеренности, безудержности, выражаемой греческой категорией «хюбрис», за которым может стоять как последнее освобождение, так и всерастворяющий хаос. Только ли в вакханалиях и дионисийских действиях проявлялся хюбрис в эросе Античности? Пожалуй, чрезмерности цезарей он был также не чужд. В Средние века страх перед грехами плоти и адскими

муками, уготовленными для грешников, нередко приводил к чрезмерности самоограничения и отречения от плоти, ответом на что во многом был безудержный разгул карнавальных утех. В статье показано, какое выражение принцип меры находит в эпоху, названную по имени королевы Виктории, как в нем воплощается новый дух времени, а также как мера сливается с ее отрицанием, безмерным хюбризмом в экстазе сексуальной революции и практиках, этой революцией порожденных.

Насколько может быть оправданным применение античных категорий при разговоре о Средневековом эросе и тем более об эросе Викторианской или пост-Викторианской эры? С одной стороны, понятие принадлежит дискурсу, и со сменой эпох можно констатировать и смену господствующих дискурсивных систем. Но, с другой стороны, греческий язык стал базисным языком европейской философии (каковым он в определенном смысле останется и под французским, немецким или английским), а латынь — языком, с помощью которого христианская мысль выстраивала и описывала новое мироздание. В нашем анализе хюбрис — не просто древнегреческое понятие, порождение и один из столпов античного дискурса, но прежде всего понятие, отсылающее к принципу, проявление которого (или страх перед которым) с определенными уточнениями возможно наблюдать и в эротизме последующих эпох.

Оговоримся, что в настоящей статье не будет затронута тема истории эроса в России, поскольку данный предмет в силу существенной самобытности не всегда и далеко не во всем вписывается в логики европейской традиции и уж точно не может быть, исходя из нее, исчерпывающе раскрыт, а посему требует специального рассмотрения.

**Эрос в плену Виктории: благопристойность, статус, здоровье и накопление.** Делая исторические обобщения, необходимо принимать во внимание культурную негетерогенность того или иного общества. Так, многие строгие правила средневекового аскетизма или Викторианского пуританизма ощущались значительно жестче в европейских столицах, таких как Париж и Лондон, чем в провинции [2, с. 261–309]. Суровость формальных предписаний, которые надо было соблюдать для заключения брака в Англии в первой половине XIX в., чудесным образом исчезала при пересечении границы Шотландии, где для заключения брачного союза достаточно было просто объявить друг друга мужем и женой в присутствии свидетеля, не требовалось согласия родителей на ранневозрастную женитьбу (юношам позволялось вступать в брак с 14 лет, а девушкам — с 12, в то время как в Англии брачующиеся должны были в обязательном порядке испросить родительского согласия, если кому-либо из них было менее 21 года). При этом брак, заключенный в Шотландии, признавался законным и в Англии [3].

Либертинство эпохи Просвещения затронуло почти исключительно только среду интеллектуалов и было предметом недоумения и насмешек со стороны людей «от сохи» и представителей бюргерства, подобно тому как насмешки и презрение вызывали у них распущенность и развращенность аристократии в любые другие эпохи. Этим простой человек отвечал утонченному аристократу на то изощренное (и не слишком) высмеивание, в котором представители привилегированных кругов вычерчивали дистанцию между собой и «неотесанной деревенщиной» или «тупым» бюргером. Многие либертины пострадали также и по воле своих классовых братьев аристократов, придерживавшихся более строгих взглядов на мораль или же имевших основания такие взгляды утверждать и претворять в жизнь не только свою, но и своего общества.

Политические трансформации, связанные с процессами централизации власти, породившей в ответ всплеск свободомыслия и свободы нравов, в свою очередь не могли не затронуть очаги фрондирующих, бунтарствующих единоличников-свободолюбцев, представлявших угрозу единой и всеохватывающей вертикали власти. Так, после поражения Фронды правление короля-солнца Людовика XVI оказывается ознаменовано периодом реакции, продолжившимся до распространения викторианской морали, господствовавшей не только на родине королевы Виктории, когда ограничения на чувственные радости вышли на новый виток и достигли своего пика.

Королева Виктория правила с 1832 по 1901 г., однако, по мнению Р. Мюшембле, Викторианская эпоха (и присущая ей мораль) не закончилась с XIX в., а сохраняла свое господство в различных социальных формах вплоть до 1960-х годов, т. е. до начала эпохи сексуальной революции [2, с. 14] (и эта логика представляется вполне оправданной). Да и началась данная эпоха, с его точки зрения, еще до восшествия королевы на трон — условно с 1800 г., при том что тенденции к ужесточению моральных предписаний, в том числе и в области эроса, наметились еще задолго до начала XIX в.

Как отмечают Ж. Ле Гофф и Н. Трюон, несмотря на официальную мораль, утверждаемую церковью, в XVI в. в связи с демографическим кризисом «более актуальным оказалось стремление населить землю, нежели небо» [1, с. 43], что привело к еще большему, чем ранее, отдалению реальной практики половых свобод от постулируемой теории сексуальной воздержанности. Запрет на наготу существовал лишь там, где того требовали приличия, а купаться в реке люди шли в костюмах Адама и Евы. Оргазм, как мужской, так и женский, рассматривается медициной XVI и XVII вв. как необходимый, хотя и прежде всего для успешного зачатия [2, с. 165]. Широкой популярностью пользовались тексты фривольного содержания: от скабрёзных

стишков, высмеивающих сильных мира сего (например, Анну Австрийскую и кардинала Мазарини [2, с. 153–155]), до антирелигиозных или псевдомедицинских порнографических сочинений [2, с. 191–211] и наставлений, подобных книге анонимного авторства «Школа девушек», призванных научить женщину наслаждаться собственным телом как с партнером, так и без [2, с. 124–127, 159–164] (такого рода произведения не исчезают и в последующие два столетия, хотя все больше порицаются, запрещаются, а издатели «особо чувственной литературы» порой рискуют не только своим кошельком, но и свободой). Как замечает Р. Мюшембле, «[в]икторианским строгостям предшествует долгий этап “невероятного жизнелюбия”» [2, с. 214].

Ужесточение нравов, как считают историки, было во многом реакцией на Реформацию. Протестанты держались за строгую мораль, чтобы подчеркнуть свое отличие от «безнравственных» католиков, католики же стали все более сурово осуждать раскрепощенную сексуальность в ответ на вызов протестантов, чтобы доказать собственную приверженность моральным идеалам. Схожие тенденции в области нормативных предписаний наблюдаются и за пределами Европы: давлением пуританства в определенной степени можно объяснить «викторианство» в Америке и даже в Китае этого времени в вопросах морали, в том числе и относительно сексуальности, начинает преобладать особая щепетильность, которую связывают как с определенным «ханжеством» неоконфуцианства, так и со страхом перед экспансией Запада [4, р. 349].

Экономические и политические трансформации привели к тому, что к XIX в. в наиболее «передовых» странах Европы буржуазия и средний класс окончательно обретают самоидентичность, которая отныне определяет систему ценностей, включая представления об отношениях между полами, о месте в них любви и, наконец, о правильной и неправильной сексуальности. Вместо коллективной ответственности, свойственной в первую очередь крестьянам, на первый план выходят принципы индивидуальной ответственности, больше присущей горожанам.

Церковь как институт социальной регуляции постепенно сдает свои позиции, растет роль юридических механизмов, но параллельно — неформального, «соседского» контроля, осуществляемого социальным окружением, к которому принадлежит субъект. «Благопристойность», «порядочность» наряду с экономическим благополучием служат в глазах окружающих мерилем состоятельности и достоинства индивида или семьи. Аналогом необходимой сокрытости «внутренней кухни» бизнеса от посторонних глаз является сокрытость всего, что происходит «за закрытыми дверями» в семье при постоянном усилии содержать «фасад семейного храма» в безупречном виде. Все

же, что выносятся из полумрака спален, кухонь, чердаков и подвалов на свет дня, делается с непременной оглядкой на другого: «А что скажет миссис Гранди?»»

Добропорядочная семья («домашний очаг») становится одной из центральных ценностей нового класса, вышедшего на авансцену истории; безбрачие осуждается, причем не только женское, но и мужское. В прошлые эпохи, разумеется, значение семьи также было высоко, однако, как правило, она теснее вписывалась в более широкие социальные группы — такие, как община или род. Кроме того, существовали легитимные практики ускользания от семейных уз, когда индивид, например, посвящал свою жизнь религиозному служению. Вместе с секуляризацией основных социальных институтов и общественного сознания подобные практики становятся все менее распространенными и в определенном смысле утрачивают свою легитимность для буржуазного мировосприятия.

Размыкание тесных объятий рода или общины, в которые раньше была заключена семья, при сохранении равнения на другие семьи и на публичное пространство своего класса, оказывается проявлением масштабного сдвига в направлении от коллективных к индивидуальным формам идентичности и самопрезентации. П. Брюкнер отмечает, что зарождающийся капитализм закладывает возможности революции чувства, предпочтения «закона сердца» перед «законом клана». Происходит постепенная демократизация любви: право на «благородные страсти» дано каждому [5, с. 32], конечно, при сохранении их благородства.

Б. Рассел в книге «Брак и мораль», вышедшей в 1929 г., отмечает, что «[р]аспад семьи, наблюдающийся с недавних пор, безусловно, обязан продолжающейся промышленной революции, но начался этот распад тогда, когда у людей появились индивидуалистические настроения. Они проявляются в том, что молодые люди отстаивают свое право жениться на тех, кто им нравится, даже если с их выбором не согласны родители. Не существует также обычай приводить жену в дом, где живут родители. Теперь сыновья покидают родительский дом после того, как они получили образование» [6, с. 146, 147]. Вместе с постепенным переосмыслением семьи в XVII–XVIII вв. любовь начинает рассматриваться как основание для заключения брака (при учете классово-принадлежности мужчины, по которому определялся и статус женщины после заключения с ним брака), с конца XVIII — начала XIX в. идеал романтической любви «начинает ощущаться» в Европе [7, с. 54] и постепенно становится господствующим в буржуазной семье «проектом феминной реализации», выражаясь словами Э. Гидденса. До индивидуальной избирательности партнерства современной эпохи было, безусловно, еще далеко, однако первые шаги в этом направлении были сделаны.

Тем не менее наблюдается все большее смыкание семейной жизни с деятельностью институтов, выражающих в конечном счете интересы государства [6, с. 147]. Забота о населении, ставшем ценным военным и рабочим ресурсом, согласно М. Фуко, лежит в основе биополитики и анатомополитики (контроле над телом-машиной) [8, с. 238–251]. Эта же забота способствует «смычке» политики и сексуальности посредством проникновения медицинской власти в семейное пространство в контексте истерии вокруг детской мастурбации и ее пагубных последствий для здоровья ребенка [9, с. 279–316].

В значительной степени выйдя из паттернов подбора супругов, свойственных доиндустриальному обществу, где, как правило, вердикт выносили либо традиция, либо интересы группы, буржуазная семья выработала собственные критерии отбора претендентов. *Ceteris paribus* приз в лице невесты получал тот из женихов, кто в наибольшей степени обладал такими личностными качествами, как умеренность, серьезность и набожность. Здесь, пожалуй, стоит заметить, что хотя набожность и относилась к необходимым характеристикам претендента на руку и сердце девушки, глубокая внутренняя религиозность, сопряженная с напряженной верой в спасение и страхом перед муками ада, которая в прошлом хоть и не была присуща всякому без исключений, но все же задавала главную линию мотивации, постепенно сменяется набожностью все больше внешней, когда осуждения соседней опасаться больше, чем Господней кары за грехи.

Считалось, что девушке разорвать помолвку с женихом было проще, поскольку, если инициатором выступал мужчина, на честь невесты могла лечь порочащая ее тень, за что легкомысленному жениху пришлось бы держать ответ перед семьей своей недавней избранницы. Можно ли из этого вывести большие права женщины по отношению к мужчине, по крайней мере, в этом вопросе? Скорее всего, нет, поскольку здесь мы имеем дело не столько с волей самой невесты, сколько с сохранившимся с глубокой древности восприятием женщины как наиболее ценного объекта, которым обладают ее отец и братья, о чем писали и К. Леви-Стросс, и Ж. Батай [10, с. 27], и пр., и ценность которого они всячески стремятся сохранить. Есть ли основания под утверждениями, давно ставшими «общим местом», что викторианский мир был прежде всего «миром мужчин»? Пожалуй, надо принять во внимание, например, многочисленные судебные решения, обязывающие несостоявшегося жениха выплатить денежную компенсацию в виде штрафа при подтверждении пострадавшей стороной серьезных намерений мужчины (доказательством чего могли служить его любовные письма, публичные заверения, подарки), иначе вина возлагалась на женщину несмываемым пятном позора. Эти решения показывают, что закон в первую очередь оберегал интересы не конкретных мужчин, а устоявшегося порядка как такового.

Личностные черты, которыми должна была обладать хорошая невеста, выражались в категориях скромности, исполнительности, добронравия и приятности в общении. Усилиями невесты и ее окружения жених должен был уверовать, что его избранница как нельзя лучше подходит для исполнения основных обязанностей женщины, которые, как и в прошлые века, сводились в первую очередь к супружеству и материнству.

В то время как на отца возлагалась задача воспитания, мать должна была позаботиться о том, чтобы вырастить ребенка, в чем ей помогали гувернантки и няни, ответственность за выбор которых ложилась в первую очередь на мать. Это не делает женщину главенствующей в домашнем пространстве, скорее, мы имеем дело с делегированием полномочий мужчинами женщинам в соответствии с принятыми традициями, в своей логике восходящими еще к заре патриархального общества. Сама королева Виктория при этом была исключением: семейные роли, которые исполняли она и ее супруг, были зеркально перевернуты, но *quod licet Jovi non licet bovi*. Однако это переворачивание традиционных ролей не нарушало сам принцип их распределения. Как и в случае с проштрафившимися женихами, не воплотившими на деле своих серьезных намерений, само исключение здесь не просто подтверждает правило, но и утверждает его и способствует его сохранению: власть королевы Виктории — олицетворение самого иерархического порядка, которым так или иначе пронизано общество на всех уровнях, в том числе и в отношениях полов простых смертных как в семье, так и за ее пределами. Да и там, где уже сам закон мог бы пойти против утвердившейся иерархии между представителями разных сословий, фактическая виктория принадлежала голубой крови, как, например, чаще всего случалось, если мужчина из привилегированного класса оставлял женщину из низшего, даже если она носила под сердцем дитя его не особо сердечной страсти.

Судьба ребенка, рожденного вне брака, была печальна: из-за ускользающе малой возможности одинокой матери заботиться о ребенке вне семейного пространства его ждали приют или смерть.

Общий уровень доверия женщинам может быть проиллюстрирован правилом, согласно которому в период ухаживания на встречи с женихом невесту пристало сопровождать кому-то из ее родственников, прислуги или подруг. И даже когда жениха принимали в доме невесты, было недозволительно оставлять их наедине: в комнате всегда должен был присутствовать кто-то еще, субъект, обеспечивавший сохранность ценного объекта, но одновременно и позволявший невесте проявить по отношению к жениху собственную субъектность, пусть и в пределах допустимого.

Хотя дети в эту эпоху получали базовые знания в области анатомии и физиологии, сексуальное образование страдало серьезным пе-

рекомом: девушки до брака имели слабое представление о «супружеских обязанностях» в постели. Императив благоразумного целомудрия (в первую очередь женского), утвердившись в среде буржуа, стал распространяться и за пределы класса, подчиняя себе и аристократов, и даже, хотя и в значительно меньшей степени [11, с. 529], представителей рабочего сословия, оставляя «за бортом» разве что парий из городских трущоб.

Нужно также принимать во внимание, что, несмотря на осуждение безбрачия, брак был предприятием не для каждой девушки. Среди женщин, оставшихся девами, многие оказывались жертвами демографической диспропорции между полами [11, с. 611–613], но некоторые представительницы среднего класса сознательно предпочитали не выходить замуж, поскольку, как и в случае со средневековыми христовыми невестами, такой ход при относительной обеспеченности мог принести им большую свободу и независимость, чем брак.

В целом представления о юридическом и фактическом бесправии женщин в Викторианскую эпоху кажутся вполне обоснованными. Например, в Англии первой половины XIX в., где процедура развода была крайне затруднительной и затратной, в редких случаях брак мог быть аннулирован по инициативе женщины, если вскрывалось такое обстоятельство, как неспособность мужа к исполнению им детородной функции. «Мужским» же основанием для развода мог считаться подтвержденный как минимум двумя свидетелями случай измены благоверной. А вот в обратную сторону это правило не работало (до «Закона о бракоразводных процессах» 1857 г. — в абсолютном большинстве случаев): адюльтер мужа не приносил женщине юридического освобождения от роли жены.

Вместе с тем, рассуждая о роли и месте женщины в те времена, не стоит чрезмерно их преумалывать. Было бы ошибкой полностью вынести за скобки леди у власти, а также влияние женщин на сильных мира сего и на простых воздыхателей, в своей совокупности, по мнению В. Зомбарта, послужившее наряду с войной ни много ни мало становлению капитализма. Королевские дворы XVII–XVIII вв. своей роскошью не только демонстрировали богатство монархов и приближенных к ним господ, не только наглядно показывали тот сказочный разрыв, который отделял «олимпийцев» от простых смертных, но и оказывались пространством, где разворачивались куртуазные связи, порочные игры, а павлины-самцы старались перещеголять друг друга не только платьем, манерами или остроумием, но и щедростью по отношению к своим фавориткам. Порядки двора становились идеалом жизненного стиля, достижимым или нет; в Людовике XIV видели бога, подражание богу творило иллюзию собственного обожествления.

Со временем разбогатевшие буржуа перенимают у аристократов эту тягу к роскоши, что ведет к умножению и расширению потребности в ней; сама же роскошь по сравнению с прошлым становится в большей степени частным (домашним), нежели публичным делом. Путь классического преуспевшего буржуа, по Зомбарту, определяется либо «скряжеством», либо тщеславием и поиском чувственных наслаждений [12, с. 116, 117]. При этом «добрая часть расходов приходилась на счет иллегитимной любви, а законным супругам доставалось оставшееся» [12, с. 132]. Но и законным спутницам жизни обладание предметами роскоши было не чуждо, в том числе и потому, что по женщине (хотя и не имевшей, как правило, своей собственности или права распоряжаться ею) оценивали благополучие и достаток семьи как таковой. Стремление к роскоши, прежде всего овеществленной, чувственной (в еде, в мебелировке, в зрелищах и т. д.) и сконцентрированной во времени, подразумевает преумножение и концентрацию чувственно-материального потребления, что в свою очередь требует наращивания темпов и масштабов производства объектов этого потребления. Разумеется, удел женщин из низших социальных слоев был совсем иным, но общую тональность Викторианской эпохи задавал в первую очередь, средний класс.

Что же касается тех, кого Зомбарт определил как «скряг», то свойственный им императив умеренности (в том числе и в сексуальности) если и не проистекал из разума, то, как минимум, заворачивался в обертку «разумности»: «разумное» число нарядов к свадьбе, «разумные» (полезные) подарки, «разумные» расходы на похороны, «разумное» количество супружеских соитий в неделю. Идеал бережливого расходования капитала, по словам Р. Мюшембле, вылился в принцип «экономии либидо» [2, с. 269]. Цель этой экономии — не только благопристойная состоятельность, но и достижение счастья, разумеется, тоже благопристойного.

В это ложе вполне помещается и буржуазный двойной стандарт данного общества, которому было чуждо распутство аристократов. Конкуренция создает поле постоянного напряжения, которое, с одной стороны, нуждается в разрядке, но с другой — требует сохранения достоинства, в том числе и когда человек позволяет себе «выпустить пар» в пределах тех возможностей, которые предоставляет в его распоряжение общество. В первую очередь этот двойной стандарт проявляется в ужесточении контроля над женщиной, однако, как предполагает Р. Мюшембле, вместе с тем растет подспудный страх того, что женщина вдруг заявит о своей субъектности и выйдет из-под контроля (что очень напоминает страх современного человека перед «бунтом машин», которые он рассматривает как подчиненные ему объекты, но в которых вместе с тем хотел бы разглядеть мыслящего и

наделенного собственной волей оппонента). Как и в прошлые эпохи, страх мужчины перед женщиной и в том числе перед ненасытностью женского желания порождается патриархальным порядком и побуждает к его закреплению в еще более жестких формах. На этот раз символическим выражением этого страха оказывается не представление о женщине как «сосуде дьявола», а идея «ненормальности». Ненасытное женское желание объявляется ненормальным, нормальным считается его отсутствие (фригидность). Здоровы целомудренные жены, больны развратные проститутки и истерички [2, с. 304]. При этом (что на первый взгляд покажется парадоксальным), не предписывая женщине стремиться к наслаждению, медицина до XIX в. предписывает ей стремиться к оргазму. Более того, зачастую и перед супругом ставится задача обеспечить оргазм своей супруги и достичь собственной кульминации одновременно с ней; порой за женщиной признавалось право отказать мужу, если тот не мог обеспечить одновременный оргазм. Однако данное предписание едва ли свидетельствует о праве женщины на удовольствие, равном аналогичному праву мужчины: как уже упоминалось, одновременный оргазм представлялся необходимым условием для зачатия ребенка, т. е. речь в первую очередь шла о репродукции, а не о наслаждении; мужу, пренебрегавшему данным правилом, вменялся в вину не столько мужской эгоизм, сколько нежелание или неспособность обеспечить продолжение рода. В первой половине XIX столетия в специальной литературе и в общественном сознании все более властвует идея о том, что женский оргазм вовсе не обязателен для успешного зачатия, что нормальной женщине не присущи ни желание, ни наслаждение и что удовольствие женщины — в угождении мужчине и в любви к детям и домашним заботам.

Борьба с формами перверсивной сексуальности велась уже не церковью именем Бога, а именем общественного благополучия — медициной, ставшей, по выражению Р. Мюшембле, «новой религией» [2, с. 263], которая при необходимости получала поддержку закона. Пренебрежительное отношение к здоровью не казалось личным выбором индивида, а должно было формировать у него чувство вины, наследующее вине перед Богом, так хорошо знакомой средневековому христианину. Романтическая болезненность, а позже болезненность декаданса до конца XIX — начала XX в., когда определенными кругами стали особо остро ощущаться усталость от викторианской морали и близящийся конец, связанный с нарастающим кризисом старых социальных структур и их идеалов, не были в почете у среднего класса и расценивались, скорее, как признаки аристократического загнивания, нежели с точки зрения их эстетической ценности. «Модным» декаданс становится только в последние десятилетия XIX в. Культ заботы о здо-

ровые способствовал росту популярности спорта, который превращается в массовое явление.

Поскольку балом накопительного утилитаризма в сфере сексуальности правил принцип репродуктивности, нерепродуктивное расхождение семени, страшившее еще древних греков, стало частным случаем непродуктивной, а следовательно, нерациональной траты, которая считалась чем-то недозволительным для добропорядочного буржуа и его экономической идеологии [13, с. 94]. Онанизм, о котором уже шла речь выше, представлялся пагубным как для тела индивида, так и для тела общества. Страх перед мастурбацией, по мнению Р. Мюшембле, наследует страху перед дьяволом и истерии вокруг охоты на ведьм. Этот страх начинает спадать к концу XIX в., сменяясь, однако, сифилофобией, связанной с процветающим в крупных городах ремеслом проституток [2, с. 284–308].

Наследие средневековых «законов против содомии» в век Просвещения стало ощущаться менее жестко, однако со временем место обвинений в ереси в нормализационном дискурсе заняла категория дегенерации, вырождения. Во Франции, например, гомосексуальность была декриминализована в конце XVIII в. Революцией, в Италии — в конце XIX в. (при этом надо понимать, что декриминализация означала отмену уголовного наказания, но не преследования вообще), а в Англии, напротив, в 1885 г. в дополнение к закону, карающему за однополые отношения «с проникновением» (до 1861 г. — смертной казнью) была принята «Поправка Лабушера», благодаря которой человек мог быть привлечен к уголовной ответственности за «грубую непристойность» даже при отсутствии доказательств «проникновения», от чего впоследствии пострадал Оскар Уайлд. И еще в середине XX столетия признанному виновным мог быть предложен выбор между тюремным заключением и принудительной гормональной терапией, которая, в частности, как принято считать, послужила причиной самоубийства Алана Тьюринга. Такова была ситуация на родине королевы Виктории до второй половины 1960-х годов. Однако не совсем правильно утверждать, что преследование лиц, практиковавших однополые отношения, были повсеместным и поголовным: во многих случаях конкретные решения основывались на политических мотивах или сведениях личных счетов, фактическая частота применения законов, карающих за мужеложство, варьировалась от региона к региону, и в сельских районах была значительно меньшей, чем в крупных городах, а, кроме того, сами судебные процессы носили больше показательный характер и были призваны не столько «искоренить само явление», сколько «очертить те границы поведения, переходить которые нельзя» [2, с. 167].

Согласно распространенному мнению, одним из наиболее характерных проявлений подавления сексуальности в рассматриваемый

период было ее умолчание сообразно господствующим нормам приличия. В этом вопросе все также не совсем однозначно. С одной стороны, в кругу благовоспитанных девушек или за чинным семейным ужином подобные темы не поднимались, а многие невесты, как уже отмечалось, вступая в брак, были невинны не только телом, но и своими помыслами. С другой стороны, по убеждению М. Фуко, ни о чем другом викторианский дискурс не говорил больше, чем о сексе [8, с. 111–133]. Имело ли место само подавление сексуальности? Фуко обращает внимание на нечеткость, размытость этого понятия. Чтобы говорить о подавленности некоего  $X$ , нам необходимо вывести этот  $X$  в чистой, исходной форме, однако как возможна человеческая сексуальность без ее культурно-социального выражения? А выражение ее будет различаться от культуры к культуре, от эпохи к эпохе. Что взять за образец, за отправную точку? Сексуальность Античности, Средневековья, настоящего времени? А отчего бы тогда не сексуальность Викторианской эпохи, — и отталкиваясь от нее, отсчитывать вехи в отклонении сексуальности от ее идеала? Пожалуй, если даже чистая, исходная форма сексуальности и существует, к единому ее пониманию никак не прийти. Тогда как же быть с вопросом подавления? Можно было бы отказаться от поиска чистой сексуальности и, подойдя к данному вопросу с позиций компаративистской методологии, утверждать большее подавление сексуальности в определенный период времени ( $t_1$ ) по сравнению с другим периодом ( $t_2$ ). Но имеем ли мы дело с одной и той же сексуальностью ( $s$ ), которая находится под разным давлением в эти два периода или же на самом деле речь идет о двух различных сексуальностях ( $s_1$  и, соответственно,  $s_2$ )? С подобной ситуацией придется столкнуться, если заменить два периода времени на две культуры, сосуществующие в один период времени, но различающиеся между собой ( $k_1$  и  $k_2$  вместо  $t_1$  и  $t_2$ ).

Исследование стало бы более предметным, если вместо понятия подавления обратиться к категории контроля и его механизмов. Однако этот контроль, будучи составной частью социального контроля как такового, присущ любому обществу, даже тому, где субъект сексуальности, как нам кажется, чувствует себя наиболее фривольно. Можно сопоставить механизмы контроля и проследить их трансформации, но едва ли это позволит нам однозначно судить о производимом этими механизмами подавлении.

В Викторианскую эпоху контроль над сексуальностью является более строгим, чем в предшествующую эпоху, и время, наступившее после сексуальной революции. Вместе с тем, как и в другие эпохи, он неравномерен по отношению к мужчинам и женщинам, семейной и внесемейной сексуальности. Десексуализации женщины из добропорядочной семьи сопутствует в целом снисходительное отношение к

природной, т. е. объективной повышенной сексуальности мужчин того же круга и их «выходкам». Между декларируемыми принципами и жизненными практиками наблюдается разрыв: при образцово-показательной безупречности официального костюма сгущающиеся сумерки открывают мужчинам мир подпольной вседозволенности. Отвечая на этот запрос, проституция в крупных городах принимает невиданные ранее масштабы. И, превратившаяся из «необходимого зла», каковой она, как правило, считалась в Средние века, в «социальную болезнь», проституция также требует нового, более строгого контроля: учет женщин «свободной профессии», необходимость прохождения ими регулярных медицинских осмотров. Однако если проституция — это социальное зло, разрастающееся по неофициальному запросу тех, кто пользуется услугами падших женщин, не резонно было бы искать также симметричные меры контроля над их клиентами? Таких симметричных мер мы не найдем. Да и медицинские осмотры имеют основной целью не столько заботу о здоровье женщин, не вписанных в официальную жизнь порядочного общества, сколько, конечно, беспокойство о благополучии их клиентов-мужчин.

Мораль умеренности древних греков и римлян возводилась к природной, но вместе с тем разумной организации, а императив самоограничения официальной средневековой морали происходил из опасности «грехов плоти» для тех, кто желает унаследовать Царство небесное. Благопристойная сдержанность Викторианской эпохи рождается из принципа сексуальной экономии, подчиняющегося тем же задачам, что и буржуазная экономия: это утилитарная полезность, добропорядочность, избегание неоправданных рисков, приоритет накопления над тратой. Сексуальность сама по себе, без включения в эту экономию, — постыдна. Женщине не пристало полностью обнажаться даже на супружеском ложе. Эротизму устанавливается так много препон, принцип реальности так плотно сходитя над принципом удовольствия, что подсмотреть за обтянутой в чулок женской лодыжкой, вдруг выглянувшей из-под подола платья, — колоссальная трансгрессия, и все помыслы молодого кавалера могут быть на долгое время вытеснены этим умопомрачительным видом. Место хюбриса в данной системе маргинально — в мужском адюльтере и разгуле, которому предавались в злочных местах, — он существует как бы «вне закона», неофициально, но тем не менее занимает существенное место в жизни крупных городов. Едва ли стоит объяснять мировые катастрофы, списывая все на фрейдистский принцип вытеснения, но как бы то ни было в первой половине XX в. этот выставленный за задворки цивилизованного общества хюбрис как минимум дважды явит себя уже за пределами сферы сексуального, а разруше-

ния и гибель, принесенные им, достигнут масштабов, ранее невообразимых и немислимых.

**Эрос и наследие 1960-х: эмансипация, темпоральность, «товарность», риск-менеджмент.** С 1960-х годов западный мир (а со временем и многие другие культуры) вступает в эпоху бесконечных побед и освобождений. Ж. Бодрийяр определяет это время как период всеобщей оргии. «Оргия, — пишет он, — это каждый взрывной момент в современном мире, это момент освобождения в какой бы то ни было сфере. Освобождения политического и сексуального, освобождения сил производительных и разрушительных, освобождения женщины и ребенка, освобождения бессознательных импульсов, освобождения искусства. И вознесения всех мистерий и антимистерий. Это была всеобъемлющая оргия материального, рационального, сексуального, критического и антикритического, оргия всего, что связано с ростом и болезнями роста. Мы прошли всеми путями производства и скрытого сверхпроизводства предметов, символов, посланий, идеологий, наслаждений» [14, с. 7]. Факторы, которые привели к этой «оргии освобождения», множественны, перечислим лишь некоторые: экономические (растущее благосостояние, индивидуализация потребления, транснационализация экономик и т. д.), политические (травмы двух мировых войн, демократизация и либерализация публичного и частного пространства, позже Перестройка в СССР и развал блока стран Варшавского договора), демографические (право пар и индивидов на самоопределение в вопросах репродукции, возможное в том числе благодаря дальнейшему развитию медицины), технические (развитие средств массовой коммуникации, глобально расширяющих горизонт общения, а также способствующих ее демократизации) и т. п. Да, сексуальные практики, безусловно, различаются в зависимости от социальной среды [5, с. 171], но по мере включения субъектов из тех или иных социальных групп в общий рыночный механизм современной сексуальности эти различия начинают стираться. Гомогамия, требующая, чтобы браки заключались прежде всего между равными, в значительной степени сохраняется на неофициальном уровне, однако количество исключений из этого правила растет. Рассуждая о «цивилизации Третьей волны», О. Тоффлер отмечает распространение культуры бездетности и констатирует кризис уже не патриархальной, а нуклеарной семьи (работающий мужчина, домохозяйка-жена и два ребенка). Этот кризис заставляет индивида искать новые формы социальных связей, которые были бы для него актуальными и позволяли в большей мере, как ему представляется, реализовать себя. В частности, в качестве возможного варианта О. Тоффлер рассматривает «электронную расширенную семью», где в базовую ячейку общества объединяются люди, не обязательно связанные родством или интимными отношениями [15].

1960-е годы — эпоха эмансипации как женщины, так и индивида вообще, эмансипации в области профессиональной занятости, в сфере публичных практик субъекта, в частной жизни и, разумеется, в интимной сфере. Раскрепощение настигло тело, речь, чувственность, коммуникацию, формы гендерной идентичности, ранее, как правило, весьма ригидные. Знание о сексуальности становится общедоступным, существенно понижается возрастной порог вступления в половую жизнь.

Процессы индивидуализации можно увидеть и как проявление более масштабного процесса дробления крупных форм социального, который проявляется во все возрастающей роли различных меньшинств. В каком-то смысле в этом заключается переворачивание классической логики власти — право голоса, который будет услышан, передается от меньшинства сверху к совокупности меньшинств снизу.

«После оргии», когда человек уже пережил все «великие освобождения», вкус к победам и освобождениям подталкивает индивида искать свои маленькие виктории во всех процессах, субъектом которых он является — от профессиональных и развлекательно-игровых до сексуальных и романтических. «Счетчик побед», который в традиционно-патриархальных культурах часто был мерилем вирильной состоятельности мужчин, сегодня включают представители обоих полов. Категории «муж» и «жена» вытесняются бизнес-понятием «партнер», которое в большей степени озарено ореолом свободы и индивидуальной избирательности, но слишком тесные узы «партнерства» также легко входят в противоречие с ценностью свободы. Мы движемся от проекта совместного освобождения к проекту «свободны вместе» (по формулировке Ф. де Сенгли) [5, с. 33], или, перефразировав: «вместе [, но] свободны» (в том числе и друг от друга). Если в прошлом романтическое сближение индивидов было подчинено кодексам ухаживания и предписаний, то сегодня оно оказалось во власти произвола случайности.

В основе этих процессов на личностном уровне лежит изменение типа идентичности. В частности, согласно З. Бауману, на смену идентичности как данности приходит идентичность как проблема, проблематичная идентичность [16, р. 27]. И одним из главных оснований искомой субъектом идентичности становится сексуальность.

Ослабление или утрата исходных социальных связей, в которые ранее человек был уже включен (семья) или потенциально включен (окружение) с момента рождения, приводит к необходимости поиска и построения этих связей уже самим индивидом и основным полем, для этого выступают не производственные или другие институциональные отношения, а пространство коммуникации. «Unbound, they must

connect», — так З. Бауман формулирует новый императив [17, р. vii]. В мире освобожденного субъекта коммуникация уже заведомо стремится к тому, чтобы тоже быть свободной, а не обязывающей, обременительной или предписывающей некие новые долженствования. Следовательно, одной из самых существенных особенностей этой коммуникации является ее темпоральность — возможность выхода из нее в любой момент времени. Отношения, которые строятся на основании такой коммуникации, также стремятся к тому, чтобы длиться ровно столько, сколько они остаются актуальными для всех участвующих сторон [7, с. 83]. В этом Э. Гидденс видит демократизм сегодняшней интимности: почему один из партнеров должен принуждать себя (или тем более быть принуждаемым кем-то еще) участвовать в отношениях, которые утратили для него ценность? Но станем ли мы вкладываться в такие отношения, которые предполагаются заведомо временными? Ежеминутно сверяясь с часами, можем ли мы раскрыть всю глубину наших отношений и того чувства, что мы продолжаем звать любовью? Как ни парадоксально, но это возможно. Принципиальная темпоральность подобных отношений может отучить нас воспринимать присутствие в нашей жизни других людей как должное и привить умение заботиться о том, что представляется действительно важным, а в силу своей темпоральности — потенциально утрачиваемым при отсутствии должного внимания и заботы. Коммуникация полагает обмен не только сообщениями, но и эмоциями; эмоция, которой поделились, — это уже разделенная эмоция. Если разделенная эмоция отвечает ожиданиям всех сторон, то в такой коммуникативной эмоции открывается новая возможность взаимораскрытия индивидов.

Однако к справедливому демократическому принципу сохранения отношений в соответствии с их актуальностью для всех партнеров, описываемому Э. Гидденсом, при трезвом анализе стоило бы добавить еще один весьма существенный момент. Темпоральность этих отношений также подразумевает возможность их прерывания и при сохранении их актуальности — просто в случае появления на горизонте нового объекта влечения, который в сравнении с благодарным и удовлетворяющим потребности индивида, но при этом хорошо знакомым партнером представляется манящей и обещающей неведомые открытия *terra incognita*.

Удовольствие становится не только дозволенным (нормативный аспект) и доступным (экономический аспект), но и доступным сейчас или по требованию, в максимально короткие сроки, сообразно возникшему запросу. Мы стремимся максимально сократить разрыв между желанием и наслаждением, наслаждение и удовольствие темпорально сливаются. Отсюда — забвение наслаждения от отложенного удовольствия, распространяющаяся импотенция в области

наслаждения от ожидания, предвкушения, фантазии. Если удовольствие может быть получено практически незамедлительно, то зачем предаваться мечтам вместо того, чтобы нажать кнопку или набрать номер? Мир, некогда разросшийся усилиями человеческого воображения и мечты до самых дальних звезд и даже дальше, в реальность «за звездами», с утратой воображением места между желанием и желаемым мог бы стать совсем плоским и удушливо тесным для человека, если бы фантазия не оказалась спасена способностью человека к пресыщению, опривычиванием даже самых ярких переживаний и обесцениванием самых прекрасных вещей пропорционально легкости их обретения. Таким образом, вместе с сокращением срока получения желаемого убывает и срок «использования удовольствия», и мечта уже метит в новый объект, судьба которого рискует повторить судьбу предыдущего. В этой темпоральности (удовольствий, объектов наслаждения и отношений по поводу наслаждений) — абсурдный удел Казановы А. Камю [18], но в ней же и *indefinitum* объектов любви Б.П. Вышеславцева [19, с. 259], который напоминает нам о бесконечности как таковой, отголоском которой он нам является. За трансгрессией в конечное проглядывает трансгрессия в бесконечное.

Сексуальность в чистом виде, в отличие от любви и трансгрессивного эротизма, имеет дело с продуктом, получению или предоставлению которого подчинены все те размеренные расчеты или вся та суэта, что выстраивается вокруг сексуальности. На удовольствие как основной продукт нерепродуктивной сексуальности распространяются все типы процессов, известных по одному из классических определений экономики: производство (удовольствия), потребление (удовольствия), обмен (удовольствием) и распределение (удовольствия). «[Н]е бывает наслаждений, кроме товарных», — замечает Ж.-К. Мильнер [20, с. 84]. В Викторианскую эпоху эти процессы, безусловно, также существовали (как существуют они везде, где есть хотя бы два субъекта сексуальности), но регулировались они в первую очередь не столько экономическими, сколько ценностными и политическими принципами. Во второй половине XX в. происходит, по словам П. Брюкнера, восстание рынка против морали [5, с. 172]. Человек не просто обладает своим телом, тело становится его экономической собственностью и его капиталом. Вместе с тем логика капиталистических отношений, задававшая принципы умеренности и накопления викторианской семьи, сохраняется, однако теперь частным случаем предпринимательства выступает уже не семья, а любовное предприятие [5, с. 33]. Да и сам капитализм изменился: на смену свойственному развивающемуся капитализму страху перед необдуманном риском, где ты «пан или пропал», приходит соблазн риска постмодерна, где человек в определенной степени застрахован от полного

фиаско базовыми гарантиями, которыми его обеспечивает достигшее устойчивого благополучия общество (Р. Инглхарт). «Идеология накопительства» [2, с. 277] вытесняется «идеологией траты».

Если в предшествующую эпоху председательствовали мера и самоограничение (настолько, насколько того требовало сохранение добропорядочной репутации), а хюбрис был вынесен за скобки официальной и публичной жизни, то сегодня можно наблюдать не что иное, как *соитие* меры и хюбриса, и формула этого соития — «рисковать остерегаясь» [5, с. 33, 34]. С распадом устойчивых социальных структур неопределенность и риск становятся нашим повседневным опытом, если мы хотим наслаждаться множественными эмансипациями и феерическими викториями. Новые отношения с риском требуют специального риск-менеджмента, который бы мог обеспечить максимальную окупаемость затрат. Человек прошлого жил виной: ощущал себя виноватым или боялся провиниться — сначала перед Богом, потом перед миссис Гранди и кругом благопристойных людей. Сегодняшнему «человеку рискующему» выпала доля жить в тревоге, но тревога эта связана не столько со страхом неудачи, сколько с мучительным ощущением, как будто что-то проходит мимо, боязнь упустить возможность рискнуть и тем самым открыть для себя новые победы или новый опыт (что тоже в некотором смысле победа). В распоряжении этого человека — «рынок соблазнов» и «рынок фрустраций» [5, с. 49], обладающие потенциально безмерными возможностями. Так хюбрис является современному человеку, и чем дальше он отдается хюбрису, тем горше может стать его немесис: как и в случае с любой химической или нехимической зависимостью, с определенного момента новизна все менее способна удовлетворить нашу в ней потребность. Соблазны начинают повторять друг друга, обезьянничать, будто в мире кривых зеркал, да и фрустрации снова и снова напоминают друг друга, словно клонированные, оставляя нас безучастными, нетронутыми, самими же собой, а это главный провал субъекта в Дивном Мире Нового.

Возможно, вместо освобождения мы получаем лишь новый тип контроля, происходит «замена одной догмы на другую» [5, с. 168], и мы переходим от антисексуальной культуры к навязчиво-агрессивной просексуальной. «Бунт гедонизма» обернулся новым конформизмом, «который под знаменем нарушения запретов восхваляет существующее положение вещей» [5, с. 173].

Кроме того, контроль осуществляется не только через формируемое извне желание и социальное уничтожение индивида, недостаточно успешного в реализации этого желания [21], — сохраняются и более классические формы его вмешательства в жизнь субъекта. От викторианского контроля, выстроенного на смычке родительского и

медицинского участия, о чем писал М. Фуко, мы среди прочего переходим, по мнению З. Баумана, к контролю посредством педагогического надзора [16, р. 29]. Проблематизация детского онанизма у наших современников уже не вызывает той тревоги и тем более той истерии, как это было в XIX в., однако настоящее время формирует свои собственные проблематизации и беспокойства, одно из которых — сексуальный абьюз, принуждение субъекта к участию в сексуальных практиках вопреки его воле. Раскрепощенная сексуальность становится чрезвычайно опасной не только для хама-«приставалы», но и для человека, неосмотрительно проявившего излишним образом свою симпатию по отношению к другому. Растущий вал обвинений в сексуальных домогательствах несет в себе не только справедливое желание обезопасить свое личное пространство и уберечься от навязчивых знаков внимания, но и спекуляцию на проблеме защиты от сексуального насилия, целью которой является в первую очередь извлечение личной выгоды. Проблема в том, что отделить первое от второго не всегда возможно. Даже брачная сексуальность требует осмотрительности: если в прошлом точкой проблематизации было уклонение от исполнения супружеских обязанностей, то сегодня особая ретивость в этих делах может обернуться судебным разбирательством. И снова ситуация достигает наивысшего накала в контексте детства. З. Бауман пытается привлечь внимание к тревожному симптому: «Родительская нежность утратила свою невинность» [16, р. 30]. При всей серьезности проблемы детского абьюза нельзя игнорировать и тот факт, что пристальное око педагогического надзора отныне способно превратить невинные рисунки трехлетнего ребенка в иллюстрации эякулирующих половых органов и доказательство домашнего сексуального насилия над детьми. Родительская любовь становится двусмысленной, неоднозначной, ее проявления в контексте современного паноптикума сопряжены с риском, отчего растет дистанция между детьми и их родителями, а это, в свою очередь, как отмечает З. Бауман, ведет к еще большему ослаблению человеческих связей между людьми и дальнейшей индивидуализации субъектов, а вместе с ней — к прогрессирующим неопределенности и... одиночеству.

**Вместо заключения: линии и вехи нелинейной истории эроса.** Доступный исторический материал хотя и позволяет выделять некоторые специфичные типы организации эроса, но едва ли может послужить неоспоримым основанием для обнаружения некой магистральной линии в его истории и уж тем более достоверно спрогнозировать, какие трансформации ожидают нас впереди и чем именно они обернутся для нашей любви, нашего желания, нашего наслаждения и нашего упоения прекрасным.

От линейного взгляда на историю любви, эротизма и сексуальности ускользает все нелинейное: все единично-неповторимое, имевшее

место только в конкретном «здесь-и-сейчас», в конкретной культуре в конкретный период времени, а также все волно- и маятникообразное движение, все те «приливы» и «отливы» матримониальной строгости, закрепощения и раскрепощения телесности, «разливы» чувственности (иногда всепоглощающие, погребаящие под собой любые другие формы ее организации) и откаты к аскетическим идеалам и моральному пуританству (порой весьма лицемерному), что сменяли друг друга на протяжении столетий.

Следует еще раз обратить внимание и на неоднородность описанных выше процессов не только при сопоставлении западных, прозападных и не-западных культур, но и на самом Западе: невзирая на наследие сексуальной революции, в целом публичные предписания в вопросах сексуальности в США остаются намного более строгими и пуританскими, чем в Европе [2, с. 432]. При этом нельзя упускать из виду, что меньшинство сторонников традиционных ценностей в Европе сегодня дополняется, как правило, значительно более традиционно настроенными мигрантами.

Остаются вопросы, на которые нет однозначного ответа. Чем же является сексуальное раскрепощение, начавшееся в 1960-х? Исторически закономерным этапом либерализации морали или точкой бунта против ужесточений и лицемерия Викторианского времени? Или только фазой, отступлением ценностей умеренности и самоограничения в общем волнообразном движении, за которым снова наступит прилив. А вот, собственно, не он ли уже стучится в наши двери? А эти приливы и отливы — не циклы ли они в каких-то гораздо больших циклах?

Несмотря на различия в конкретных исторических процессах и тенденциях, все же можно выделить некоторые общие фундаментальные основания мировоззренческого характера, на которых выстраивалась легитимация моральных установлений и существующих практик в области эротического. В обществах премодерна — это мифо-метафизические основания, человек буржуазной эпохи (в том числе и предприниматель-протестант у М. Вебера) будет искать оправдание своим нравам в земной, но все еще объективной для него реальности. В то время как современный субъект сексуального, провозгласив свою автономию и независимость от внеположных ему ориентиров, оказывается в мире с неразмеченными путями и в значительной степени вынужден искать опору либо исключительно в собственной неопределенной субъектности, либо в мерцающей и динамично меняющейся области интересубъективного.

Дискурс об эросе, сформулированный в сочинениях Платона, Ксенофонта, Эпикура, Цицерона и других античных мыслителей, легитимирует те или иные практики не через отсылку к религиозным

истинам трансцендентного характера (как это будет в контексте, например, средневековой христианской легитимации), но через их соотнесенность с природным. Однако необходимо обойти соблазн видеть в «фюзисе» древних греков или «натуре» римлян «природу» современной физики. Природа для античного человека — это не просто материальное пространство, в котором осуществляет себя социальное. Фюзис в определенном смысле одухотворен, он есть космос. Природа не тождественна обществу, но они находятся в состоянии соотнесенности (или последнее должно быть приведено к нему) по «закону гостеприимства», как замечает Ж.-К. Мильнер, отсылая нас к «филии» Эмпедокла как состоянию Вселенной, где разнородное стремится друг к другу [20, с. 56]. Афродизиа, или употребление удовольствий, подразумевает, по Мильнеру, инкорпорацию и поглощение иного, которое не может быть поглощено полностью в силу своей инаковости, но благодаря филии между мною и Другим возможно выстраивание отношений наслаждения. Следовательно, естественное в любви и сексуальности для античного человека — это не просто биология с ее физиологией, гормонами и т. д., как для человека современной науки, но соотнесенность с космическим порядком. И в таком смысле это естественное, каким бы парадоксальным это ни показалось кому-то из современных людей, — метафизично.

Средневековый человек живет в сложном и порой парадоксальном мире, где смешивается дохристианское наследие с положениями и идеалами новой веры. Здесь найдутся и чувство близости своего существа, тела и души с природными, имманентными этому миру принципами, и стремление освободиться от порочности и горя земной юдоли благодаря приобщению к абсолютному и трансцендентному источнику блага. Ценность телесных наслаждений (а в определенном смысле и наслаждений души) раскрывается в средневековой культуре карнавала, ценность наслаждений духа — через самоограничение поста.

Природа, в которую переселяется человек в Новое время, также находит в нем свое продолжение, но на этот раз совершенно иначе: фюзис физики перестал быть фюзисом древних греков, превратившись в физическую материю. В «галилеевской» Вселенной, как полагает Мильнер, между тем, кто употребляет наслаждение, и тем, что им употребляется, больше нет отношений различия, поскольку в их основе лежит одна и та же материя. В этой физической картине нет места вере, нет места «космической религиозности», что либо приводит к постепенному выхолащиванию религиозного измерения эроса, либо принуждает всеми силами охранять это измерение, укрывшись от мира физики в «высоком замке» метафизики, подобно тому как средневековый человек мог укрыться от мирового греха в монастыре.

При этом, по мнению Мильнера, отношение филии становится невозможным, на смену ему приходят рыночные отношения, а предмет наслаждений в них выступает товаром. Закон меновой стоимости требует принципиального безразличия к качеству вещи, а закон потребительной стоимости приводит к тому, что в товаре соединяются «все возможные причины наслаждения» [20, с. 84].

После того как кризисы и катастрофы первой половины XX в. развенчали или по крайней мере поставили под вопрос статус объективных, универсальных истин, формы социальной организации эроса стали сперва более гибкими, а затем, с наступлением того, что З. Бауман определяет как «текущая современность», плавающими и ускользающими. Природа как объективная реальность окончательно превращается в объект, который благодаря развитию технологий может быть изменен волей человека. Ценности индивидуализации и персонализации одарили человека невиданной ранее степенью свободы, в том числе и в вопросах пола, сексуальности и любви. Свобода эроса доходит до возможности его отрицания: индивид может выбрать добровольный целибат [11, с. 28] или асексуальность. Предпочтение пола объекта сексуального желания все реже мыслится как предопределенное природой и уж тем более как естественное или противоестественное, это в первую очередь дело субъекта желания. Реальной становится практика превращения мужчины в женщину и наоборот, открываются технические возможности выбора пола будущего ребенка. Классическая бинарность пола взрывается множественностью гендера.

Наслаждение не достигается естественным образом (было ли возможно такое раньше — вопрос), дискурс, в который исходно погружен индивид, или тот, который он относительно осознанно выбирает сам, помогает ему понять, что обещает ему этот подвижный, такой разный мир. Прежде чем мы сможем насладиться вещью, последняя должна быть описана как причиняющая наслаждение. Следовательно, как заключает, в частности, Мильнер, язык выступает как необходимое переходное звено между Вселенной, с которой, по его мнению, современный человек в отличие от грека не «софилен», и телом и сам становится одним из средств наслаждения [20, с. 86].

В эпоху различий эти «виктории раскрепощения» не получают, да и не могут получить какой-то однозначной оценки. Их принятие или непринятие, салотование или осуждение зависят не только от «косности и зашоренности» или от «бездумности и моральной несостоятельности» индивида, но и от того, является ли он «подавленным» или «укорененным» субъектом. Для «подавленного» субъекта раскрепощение — земля обетованная; в отличие от своего недавнего предшественника, этот

человек занят поиском уже не истины (как «человек признания» у Фуко), а немедленного «спасения» [5, с. 170]. И в то же время нельзя отказать ему в праве на обретение столь желанной свободы, ибо для того, кто страдает от подавления, нет ничего справедливее, чем желание свободы. «Укорененный» субъект знает ценность глубоких, требующих длительного выстраивания отношений и эмоций. Для него любовь может раскрыться как сила архаичная, феодальная и антидемократическая [5, с. 39].

Выдерживает ли любовь, понимаемая как небезразличие к личностному бытию другого и предполагающая заботу об этом бытии, конкуренцию с устремленностью к сексуальным удовольствиям? Там, где личностное бытие другого человека остается для нас значимым, сохраняется место и для любви, но в области доминирующих сегодня смыслов наблюдается приравнивание любви к сексуальности или же любовь рассматривается как средство «обогащать» сексуальность [16, р. 25]. «Эпизодическая сексуальность» — дескрипция, хорошо приложимая к реальным жизненным практикам современного человека, «эпизодическая любовь» — это почти оксюморон, потому что любовь подразумевает погружение в глубину, личность не раскрывает то свое богатство, которое действительно может стать предметом любви и заботы, за чашечкой кофе, бокалом вина или даже в паре страстных объятий.

Едва ли мы могли бы согласиться с тем, что движение к свободе (либерализм) или устойчивой упорядоченности (консерватизм) сами по себе могут рассматриваться как абсолютные добро или зло. Либеральный проект — это прежде всего реакция на косность, на корни, ставшие оковами (при наличии необходимых для этого проекта ресурсов — экономических, политических и пр.). А консервативные тенденции выражают потребность в защите от чрезмерной либерализации (особенно при наличии угрозы — как внешней, так и внутренней, или при столкновении с иным вызовом, ответ на который требует мобилизации сил общества). Зло не в векторе как таковом, не в строгости и не свободе, а в утрате меры, упредительной или инерционной эксцессивности средств и целей, в ценностях, слепых к реальной ситуации, замкнувшихся на самих себе. Вот тут-то нам и является хюбрис. И когда-то нам или нашим детям приходится за него отвечать; как весьма обоснованно полагали древние греки: за хюбрисом следует немесис.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РУДН,  
инициативная НИР № 100114-0-000 «Человек и общество  
в контексте современности».*

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] Ле Гофф Ж., Трюон Н. *История тела в средние века*. Москва, Текст, 2008, 189 с.
- [2] Мюшембле Р. *Оргазм, или Любовные утехы на Западе. История наслаждения с XVI века до наших дней*. Москва, Новое литературное обозрение, 2009, 512 с.
- [3] Коути К., Гринберг К. *Женщины Викторианской Англии. От идеала до порока*. Москва, Алгоритм, 2013, 320 с.
- [4] Tannahill R. *Sex in history*. New York, Stein and Day, 1980, 480 p.
- [5] Брюкнер П. *Парадокс любви*. Санкт-Петербург, Издательство Ивана Лимбаха, 2010, 272 с.
- [6] Рассел Б. *Брак и мораль*. Москва, Крафт+, 2004, 272 с.
- [7] Гидденс Э. *Трансформация интимности*. Санкт-Петербург, Питер, 2004, 208 с.
- [8] Фуко М. Воля к знанию. В кн.: *Воля к истине — по ту сторону знания, власти и сексуальности*. Москва, Касталь, 1996, с. 97–268.
- [9] Фуко М. *Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году*. Санкт-Петербург, Наука, 2005, 432 с.
- [10] Батай Ж. *История эротизма*. Москва, Логос, 2007, 200 с.
- [11] Эббот Э. *История целибата*. Москва, Этерна, 2016, 856 с.
- [12] Зомбарт В. Роскошь и капитализм. В кн.: *Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3*. Санкт-Петербург, Владимир Даль, 2007, с. 6–236.
- [13] Орехов А.М., Ахмедов Ф.Н. Экономическая идеология: опыт интерпретации. *Социум и власть*, 2013, № 6, с. 90–95.
- [14] Бодрийяр Ж. *Прозрачность зла*. Москва, Добросвет, 2000, 258 с.
- [15] Тоффлер Э. *Третья волна*. Москва, Издательство АСТ, 1999, 784 с.
- [16] Bauman Z. On Postmodern Uses of Sex. *Theory, Culture & Society*, 1998, vol. 15, no. 3–4, pp. 19–33.
- [17] Bauman Z. *Liquid Love*. Cambridge, Polity Press, 2003, 164 p.
- [18] Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. В кн.: *Бунтующий человек*. Москва, Политиздат, 1990, с. 24–100.
- [19] Вышеславцев Б.П. *Этика преобразенного эроса*. Paris, YMCA Press, 1931, 273 p.
- [20] Мильнер Ж.-К. Триплет наслаждения. В кн.: *Констатации*. Санкт-Петербург, Machina, 2009, с. 48–91.
- [21] Тагиров Ф.В. Эрос в экономике власти: сексуальная революция и теория символического контроля Ж. Бодрийяра. *Гуманитарный вестник*, 2018, вып. 7. <http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2018-7-535>

Статья поступила в редакцию 09.12.2019

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом:

Тагиров Ф.В. Ключевые проблематизации в истории пола, любви и сексуальности. Часть 2: Викторианский плен и современные виктории. *Гуманитарный вестник*, 2019, вып. 6. <http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2019-6-633>

**Тагиров Филипп Владимирович** — канд. филос. наук, доцент кафедры «Социальная философия» Российского университета дружбы народов.  
e-mail: tagirov-fv@rudn.ru

## **Key problems in the history of sex, love and sexuality. Part 2: Victorian captivity and modern victories**

© F.V. Tagirov

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN), Moscow, 117198, Russia

*The paper focuses on the pivotal points of the organization of eroticism, love and sexuality in the Victorian era, as well as in the era of individualization and emancipation, which followed the sexual revolution of the 1960s. The main problems of Victorian time are decency, status, health, and accumulation. The study shows how the values of the bourgeois class become dominant in the described society, while family relationships, manifestations of sexuality and expressions of love are under unofficial yet close control of the social environment and are required to comply with status ideas about decency and moderation. Medicine is turning into a "new religion", and health care, as understood by that era, it takes the form of forced control in terms of sex life in general and female sexuality in particular. One of the main imperatives of the bourgeois way of thinking is the principle of utilitarianism - the exclusion of unproductive waste and the accumulation of wealth - which also directly affects both the social and intimate aspects of relations between the sexes. The key problem points of eros in modern society are analyzed: emancipation, temporality, "marketability", risk management. It is revealed how the general tendency toward emancipation simultaneously leads the subject of sexuality to freedom and the need for an ongoing search for his or her own identity. Furthermore, the study shows that, together with the weakening of stable social structures, the goals that this subject sets, as well as his victories, tend to be more temporal, and that together with the "victory of the market over morality", relations associated with pleasure become primarily of a marketable nature. The issue of new forms of control, established in the world of liberated sexuality, is examined as well. Summarizing conclusions are made regarding the non-linear nature of the history of eros and general philosophical foundations that predetermine erotic practices and their interpretation in different eras. The theoretical basis of this study is the research of Z. Bauman, M. Foucault, R. Muchembled, P. Bruckner, E. Giddens, J. Baudrillard, A. Toffler, B. Russell, W. Sombart, J. Le Goff and N. Truong, R. Tannahill, J.-C. Milner, and several other authors. The study is based on the principles of comparative, socio-philosophical, philosophical-historical and historical-philosophical methodology.*

*Part I of the article was published in issue 5 of the journal, 2019*

**Keywords:** *Victorian era, history, control, sex, sexuality, sexual revolution, hubris, emancipation, eros*

### REFERENCES

- [1] Le Goff J., Truong N. *Une histoire du corps au Moyen Âge*. Liana Levi, 231 p. [In Russ.: Le Goff J., Truong N. *Istoriya tela v srednie veka*. Moscow, Tekst Publ., 2008, 189 p.].
- [2] Muchembled R. *L'orgasme et l'Occident: Une histoire du plaisir du xvie siècle à nos jours*. Paris, Le Seuil, 2005, 396 p. [In Russ.: Muchembled R. *Orgazm, ili lyubovnye utekhi na Zapade*. *Istoriya naslazhdeniya s XVI veka do nashikh dney*. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2009, 512 p.].

- [3] Cauty K., Greenberg C. *Zhenshchiny Viktorianskoy Anglii. Ot ideala do poroka* [Women of Victorian England. From ideal to vice]. Moscow, Algoritm Publ., 2013, 320 p. (In Russ.).
- [4] Tannahill R. *Sex in history*. New York, Stein and Day, 1980, 480 p.
- [5] Bruckner P. *Le Paradoxe amoureux*. Grasset, 2009, 275 p. [In Russ.: Bruckner P. Paradoks lyubvi. St. Petersburg, Ivan Limbakh Publ., 2010, 272 p.].
- [6] Russell B. *Marriage and morals*. Liveright; Liveright Paperbound ed., 1970, 324 p. [In Russ.: Russell B. Brak i moral. Moscow, Kraft+ Publ., 2004, 272 p.].
- [7] Giddens E. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford University Press, 1993, 224 p. [In Russ.: Giddens E. Transformatsiya intimnosti. St. Petersburg, Piter Publ., 2004, 208 p.].
- [8] Foucault M. La Volonté de savoir. In: *Histoire de la sexualité*. Paris, Gallimard, 1994, 248 p. [In Russ.: Foucault M. Volya k znaniyu. In: Volya k istine — po tu storonu znaniya, vlasti i seksualnosti. Moscow, Kastal Publ., 1996, pp. 97–268].
- [9] Foucault M. *Les Anormaux: Cours au Collège de France (1974–1975)*. Paris, Gallimard, 1999, 351 p. [In Russ.: Foucault M. Nenormalnye: Kurs lektsiy, prochitannykh v Kollezh de Frans v 1974–1975 uchebnom godu. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005, 432 p.].
- [10] Bataille G. *L'Histoire de l'érotisme*. Paris, Gallimard, 2015. [In Russ.: Bataille G. Istoriya erotizma. Moscow, Logos Publ., 2007, 200 p.].
- [11] Abbott E. *A History of Celibacy*. Lutterworth Press, 2001 [In Russ.: Abbott E. Istoriya tselibata. Moscow, Eterna Publ., 2016, 856 p.].
- [12] Sombart W. *Luxus und Kapitalismus*. München, Duncker & Humblot, 1922. [In Russ.: Sombart W. Roskosh i kapitalizm. In: Sobranie sochineniy. V 3 t. T. 3. St. Petersburg, Vladimir Dal Publ., 2007, pp. 6–236].
- [13] Orekhov A.M., Akhmedov F.N. *Sotsium i vlast — Society and Power*, 2013, no. 6, pp. 90–95.
- [14] Baudrillard J. *La Transparence du Mal: Essai sur les phénomènes extrêmes*. Editions Galilée, 1990, 179 p. [In Russ.: Baudrillard J. Prozrachnost zla. Moscow, Dobrosvet Publ., 2000, 258 p.].
- [15] Toffler A. *The Third Wave*. Bantam, 1984, 560 p. [In Russ.: Toffler O. Tretya volna. Moscow, AST Publ., 1999, 784 p.].
- [16] Bauman Z. On Postmodern Uses of Sex. *Theory, Culture & Society*, vol. 15, no. 3–4, 1998, pp. 19–33.
- [17] Bauman Z. *Liquid Love*. Cambridge, Polity Press, 2003, 164 p.
- [18] Camus A. *Le Mythe de Sisyphe*. Gallimard, 1985, 169 p. [In Russ.: Camus A. Mif o Sizife. Esse ob absurde. In: Buntuyushchiy chelovek. Moscow, Politizdat Publ., 1990, pp. 24–100].
- [19] Vysheslavtsev B.P. *Etika preobrazhennogo erosa* [Ethics of the transformed eros]. Paris, YMCA Press, 1931, 273 p.
- [20] Milner J.-C. *Le Triple du plaisir. (Philosophie)*. Verdier, 1997, 89 p. [In Russ.: Milner J.-K. Triplet naslazhdeniya. In: Konstatatsii. St. Petersburg, Machina Publ., 2009, pp. 48–91].
- [21] Tagirov F.V. *Gumanitarny vestnik — Humanities Bulletin of BMSTU*, 2018, no. 7. Available at: <http://dx.doi.org/10.18698/2306-8477-2018-7-535>

**Tagirov F.V.**, Cand. Sc. (Philos.), Assoc. Professor, Department of Social Philosophy, Peoples' Friendship University of Russia (RUDN). e-mail: tagirov-fv@rudn.ru